

Исаак Вайншельбойм

## Особняк в Отраде

Воспоминания

Исаак Абрамович Вайншельбойм (1922-2019) проработал более 20 лет в Одесской областной коллегии адвокатов, трудился в юридической консультации Ильичевского района г. Одессы, вел гражданские и уголовные дела большей частью в Ильичевском районном суде г. Одессы, который тогда располагался на Молдаванке по улице Виноградской, 2.

Там я с ним и познакомилась, работая секретарем судебного заседания. Небольшого роста, подтянутый, очень энергичный, всегда улыбающийся, с мягким чувством юмора, Исаак Абрамович не выглядел инвалидом, тяжело раненным во время Великой Отечественной войны. А между тем, воюя в пехоте, старший лейтенант, начальник штаба отдельного стрелкового батальона Вайншельбойм И.А. был тяжело ранен в голову и в 1943 году комиссован из армии по ранению, после длительного лечения в госпиталях был признан инвалидом.

В 1949 году Исаак Абрамович окончил Московский юридический институт и сразу стал работать адвокатом в Староконстантинове Хмельницкой области – своем родном городе, который он очень любил. В 1969 году переехал жить и работать в Одессу.

Он был не только хорошим адвокатом: талантливый художник-самоучка, был знаком со многими одесскими художниками, дружил с замечательной художницей Диной Михайловной Фруминой. Свой стиль он называл «одесский импрессионизм». В 1986 году Исаак Абрамович устроил выставку своих картин в помещении юридической консультации Ильичевского района на ул. Мойсеенко, 8, что было для тех лет новов и необычно.

В 1990 году, выйдя на пенсию, И.А. Вайншельбойм вместе с семьей эмигрировал в США и поселился в Нью-Йорке. Прошло довольно много

лет, и я в 2019 году случайно узнала от преподавателя исторического факультета ОНУ им. И.И. Мечникова профессора А.А. Пригарина, побывавшего в Нью-Йорке, что И.А. Вайншельбойм жив и в свои 96 лет ведет очень активный образ жизни. Благодаря Одесскому землячеству Нью-Йорка на Фейсбуке я связалась с Исааком Абрамовичем по телефону, была очень рада почти через тридцать лет слышать его голос и попросила при возможности выслать мне написанную им книгу. Из статей в Интернете я узнала, что он не только писал книги, но и создал множество картин, часть их посвящена теме Холокоста, принимал участие в десятках выставок картин в Нью-Йорке.

Получив посылку с книгами и фотографиями его картин, я в тот же день решила поблагодарить его через Одесское землячество Нью-Йорка и открыла его страницу на Фейсбуке. Первое, что я увидела, – это фотография Исаака Абрамовича, и через минуту поняла, что это траурная фотография, он не дожил месяц до 97 лет. До сих пор ощущаю смерть Исаака Абрамовича как потерю неординарного человека и думаю, как много интересного он мог еще создать.

В высланной мне книге «Высший суд» я нашла очерк «Особняк в Отраде», посвященный Евгению Ермиловичу Запорожченко, с очень интересными подробностями, и решила, что он достоин того, чтобы с ним ознакомились читатели альманаха «Дерибасовская – Ришельевская».

О. Козоровицкая  
Нью-Йорк, 2016 г.

...Что ищет он в стране далекой,  
Что кинул он в краю родном?

Михаил Лермонтов

Одесситы, знакомые с Евгением Ермиловичем Запорожченко, а этот круг был немалый (в него входили литераторы, художники, архитекторы, яхтсмены), знали о его увлечении парусным спортом. Увлечение Евгения Ермиловича яхтой было всепоглощающим, это было не увлечение, а страсть, страсть безудержная, даже роковая, которая едва не стоила ему жизни.

В возрасте за восемьдесят в прохладное раннее майское утро он вышел в море на своем паруснике. Между тем лето в Одессе, как известно, рождается только в конце мая. Запорожченко, однако, не терпелось открыть парусный сезон. Над Одесским заливом простиралось безоблачное высокое голубое небо. Простор был великолепен, он манил своим блеском, тянул к себе неудержимо. Парус, наполненный ветром, послушно и резво гнал утлое суденышко в даль моря. Радость после долгого зимнего ожидания лишила яхтсмена чувства осторожности, и далеко в море он поставил навстречу усилившемуся ветру гулкий парус и наполненную ликованием грудь. А был он одет всего лишь в легкую майку – захотелось свежего майского загара.

Бриз усиливался, но парус был послушен его сильным рукам, яхта легко подымалась на гребни высоких волн, скорость яхты пьянила, казалось, она находится в свободном полете, а ветер все сильнее и сильнее обдувал яхтсмена. Он радовался неистовым порывам стихии...

Впоследствии Запорожченко обронил фразу: «Горизонт в море манит к себе неудержимо!» «Почему? – спросил я. – Ведь достичь горизонта невозможно: сколько к нему ни приближайся, он настолько же отдаляется». Он развеял мое недоумение.

– А мы стремимся к горизонту как к реальной цели. Может, потому и влечет он к себе, что за ним всегда существует новая жизнь, новые земли, страны, люди. Сколько в жизни человека недостижимых горизонтов, а люди идут навстречу к ним, даже рискуя. А может, нас влечет не горизонт, а риск? Кто его знает...

Меня поразили романтические грезы пожилого человека, у которого в жизни было вдоволь риска, драматических и даже трагических испытаний, и я спросил:

– А может, к горизонту влечет давняя не удовлетворенная мечта об абсолютной свободе?

После небольшой паузы он задумчиво ответил:

– Вы, наверное, правы. Романтика удел не только молодых. Чем старше человек, тем больше у него потребность в свободе.

После того раннего майского полета к горизонту Евгений Ермилович явился домой под вечер с высокой температурой

и воспалением легких. Так Запороженко стал пациентом моей жены Зины, заведовавшей отделением в больнице в парке Шевченко, поблизости от Отрады, уютного прибрежного уголка Одессы, в котором находится особняк Евгения Ермиловича. По возвращении с работы Зина сказала:

– Ты как-то говорил, что Запороженко – товарищ Катаева и прототип персонажа из повести «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Он, видно, неординарный человек. Живет в Отраде на потрясающей вилле с садом. Помнишь, мы не раз любовались тем домом, когда бывали в Отраде на улице Уютной...

Я помнил.

Из редких публикаций в одесских газетах я знал, что Запороженко действительно поддерживает дружеские отношения с Катаевым, который, приезжая в Одессу, живет у него на Уютной, что он активный борец за сохранение памятников истории и архитектуры в городе и области. И является собственником замечательного особняка в Отраде – по советским временам редкость.

В Отраде много небольших красивых домов, бывших частных вилл дореволюционной постройки. Отрада – небольшой живописный уголок на одесском побережье, недалеко от центра города. Мы жили на Маразлиевской, близко от Отрады, часто там гуляли и спускались по крутому берегу к морю рядом с пляжем Ланжерон. Улица Уютная, на которой стоит особняк Запороженко, отвечает своему имени, она и в самом деле уютная, маленькая, даже не улица, скорее переулок, зеленый, тенистый, всего-то несколько домов. Со стороны города лицом к морю Уютную запирает двухэтажное здание больницы с красивым фасадом, построенной до революции генералом Орловым для своего зятя-врача.

Мы любовались домом Запороженко, фасадом в классическом стиле. За изящными колоннами – лоджия, вход в нее из глубины дома, по обе стороны лоджии два одинаковых крыла с высокими венецианскими окнами в каждом крыле. Композиция особняка и сада со стороны Уютной завершалась кованой чугунной оградой строгого рисунка. Впоследствии мы узнали, что автором особняка был знаменитый одесский архитектор Юрий Мелентьевич Дмитренко, украсивший город прекрасными домами.

Любуясь особняком на Уютной, мы не знали, кто там живет, и представить не могли, что дом не конфисковали во время революции, что в советское время, когда страна страдала от жилищного голода, особняк принадлежал не государству, а оставался частным владением, и что живет в нем всего одна семья крупного дореволюционного предпринимателя, как говорили тогда, буржуя-миллионщика.

Впоследствии, после личного знакомства с Евгением Ермиловичем, когда наши отношения стали доверительными, и он много рассказывал о своей жизни, я осторожно, но покуда безуспешно, пытался найти ответ на эту странную загадку, которая осложнялась множеством других, не менее загадочных обстоятельств и переплетений его сложной судьбы, которые случались уже в наше время. Но об этом позже.

Организм Запорожченко, человека несокрушимой воли и отменной физической силы, одолел тяжелую двухстороннюю пневмонию, ему для этого понадобилось всего десять дней. Его торс снова поражал упругими мышцами. Когда ему разрешили прогулки по коридору больничного отделения, врачи и сестры любовались его фигурой циркового борца. Несмотря на огромный рост, он был безупречно пропорционален, словно вылеплен Роденом. Он даже лицом напоминал роденовского Мыслителя. О натурщиках с такими пропорциями мечтают художники и скульпторы. Он мог бы служить прекрасной моделью для картины Репина «Запорожцы». Судя по его фамилии, его предки действительно были запорожскими казаками. Среди художников он имел много друзей, его охотно рисовали. Он и сам был одарен тонким чувством прекрасного, и сам стал художником.

Через две недели после злополучной прогулки на яхте он отправился домой на Уютную, взяв с Зины слово, что в ближайшее воскресенье он будет нас ждать к обеду, чтобы отметить выздоровление. В то сверкающее майское воскресенье, каким оно бывает в конце месяца в Одессе, состоялось мое знакомство с Запорожченко, который оказался человеком из незнакомого мира, мира Европы, наглухо для нас закрытого, из мира послереволюционной русской эмиграции, из окружения известных писателей,

художников, композиторов, бежавших от Октябрьской революции и поражения Белого движения в Гражданской войне, тем самым сохранивших себя для русской и мировой культуры.

Во время первого знакомства все это еще не было мне известно, и поэтому знакомство прошло, естественно, приятно, без волнений. И тем не менее многое в первое время общения не могло не удивлять. Прежде всего, удивляла сама мощная фигура хозяина, хотя я был к этому несколько подготовлен рассказами жены. Удлиненная форма лица с приметными чертами, крупным носом, высоким лбом под тщательно зачесанной серебристой прической, мясистыми ушами и с неожиданно мягким ртом – все формы изысканной скульптуры были прочно установлены на мощной шее, словно на подставке. Форма общения Запорожченко с гостями была простой и непринужденной, словно с давними знакомыми. В его манере была едва уловимая светскость, непривычная для нас, но при этом нисколько не смущавшая. Евгений Ермилович представил нас сестре и ее детям. Своих детей у него, к сожалению, не было, он был женат в эмиграции на хрупкой красивой женщине, дочери сибирского миллионера, покинувшей Россию, как и Запорожченко, в конце Гражданской войны. Жена умерла задолго до нашего знакомства с Запорожченко. Евгений Ермилович жил с семьей сестры.

Учился он на кораблестроительном отделении Одесского политехнического института. Потом – Первая мировая война. Немало опасных минут пришлось пережить матросу Запорожченко, когда он служил на миноносце «Феодонисий», а затем на военном транспорте. Пароход «Херсон», на котором студент Запорожченко проходил практику, принадлежавший английской компании, не вернулся в охваченную революцией Россию. Евгений сошел на берег в югославском порту, попал в Загреб, где продолжил занятия в политехническом институте. Но за учебу надо было платить, а деньги кончались. Повезло, пришло письмо от друга, с которым Запорожченко плавал на «Херсоне», и позвало его в Париж.

Собрав немного денег, Евгений поступил в электротехнический институт. Став инженером, он продолжал самообразование: занимался музыкой, много читал, изучал языки.

Обед был скромным, как в большинстве домов среднего достатка того времени, но его украшали остатки бывшего изящного фарфора, оживленная беседа, милые тосты и скромные комплименты и благодарности «волшебному доктору Зине».

Я не мог скрыть мой интерес к обстановке большой гостиной, в которой сохранились следы бывшего оформления и убранства. На стенах еще был виден первоначальный рисунок обоев, но он печально поблек. Лучшее всего сохранилась лепнина потолка, хотя в одном углу отвалились детали. Поблекшими выглядели и обивка дивана, и остатки старой мебели. Несмотря на яркий день, гостиная напоминала время сумерек. Мне даже казалось, что это не настоящий реальный живой дом, а декорации кинофильма о разорившемся дворянском гнезде. Только рисунки и картины на стенах оживляли обстановку, большинство из них казались недавно развешенными. Евгений Ермилович заметил мой интерес ко всему, что нас окружало, и сказал, что если нам интересно, он покажет дом и расскажет о происхождении картин. Я ответил, что мы давно любимся фасадом здания, когда бываем на Уютной, и нам будет все интересно.

Хозяин бегло показал нам свою комнату, которую назвал «моя келья». Хотя это была довольно вместительная светлая комната с большим окном, в которой стояли кровать, старинный письменный стол, заваленный бумагами и книгами, старое кресло и еще какая-то мебель давнего времени. На стенах висели картины, о которых Евгений Ермилович рассказал во время последних посещений. Выделялись яркие этюды художника Малявина. Художники картин были его знакомыми и друзьями. Здесь висели картины и этюды самого Запорожченко, нарисованные в эмиграции, главным образом городские пейзажи Ниццы и ее окраин.

Затем хозяин пригласил нас в сад за домом, в который мы вышли через просторную открытую террасу. Сад и двор были запущены, и даже свежая майская зелень их не оживляла. Дорожка от веранды к центру, где стоял изящной формы небольшой беломраморный фонтанчик на витой колонке итальянской работы, почти заросла. Сам фонтан подчеркивал сиротливость

обстановки. По состоянию чаши фонтана было видно, что он давно забыл водную струю и брызги.

– Видно, где-то забилась водопроводная труба, – сказал Евгений Ермилович без видимого сожаления. Вероятно, он свыкся с нынешним состоянием сада и дома, а средств для ремонта и ухода не было.

Свидетелями былого великолепия сада были два каштана, могучих, как хозяин, и стройных, как он. Большой куст сирени в противоположном углу с множеством сухих веток еще не цвел. Из куста давно не удаляли сухостой, не подрезали. Запущенность сада тем не менее не лишала его своеобразного уюта, он удивительно гармонировал со всем, что мы видели в доме, был един с еще не чищенной после зимы террасой. В его запущенности была необъяснимая прелесть, его живописное старение не вызывало грусти. Каждый уголок большого дома, как и сад, дышали живой крепкой стариной. Особняк пережил разрушение старого мира, он состарился, но это была здоровая крепкая старина, которой едва коснулись новые времена. Состарившийся дом был внутренне крепок. Оба они, хозяин и его дом, пережили много катаклизмов, но устояли, они оба были созданы из крепкого материала.

Расставались мы тепло. Запорожченко мило ухаживал за Зиной, говорил, что ему приятен мой интерес к живописи, он хотел бы более близкого знакомства и просил не забывать затворника. Я обещал звонить и делиться городскими новостями. Он проводил нас до калитки и снова просил приходить. За калиткой сиял майский день, который усиливал впечатление прикосновения к событиям неведомой среды, которую хотелось увидеть и узнать ближе. С течением времени это чувство становилось едва ли не навязчивым, но я долго не решался звонить.

Евгений Ермилович опередил меня.

– Извините за поздний звонок, вы говорили, что часто бываете в филармонии в концертах и обслуживаете филармонию как юрист. Мне сказали, что ожидается приезд московской пианистки с программой бетховенских сонат, я хотел бы послушать, уведомите меня, пожалуйста. Я слушал эти сонаты в исполнении Рахманинова, и хочется восстановить впечатление.



У меня невольно вырвалось:

– Вы слушали Рахманинова?

– Мы были близко знакомы, я принимал Сергея у себя, когда жил в Ницце.

Я несколько замешкался и после паузы сказал, что непременно все узнаю и сообщу о предстоящих концертах.

Запороженченко предстал в моем воображении еще более загадочным человеком. В то время послереволюционная эмиграция была темой закрытой. Тотчас у меня возникло множество вопросов: как он оказался в эмиграции, что делал и чем занимался, каким образом вернулся домой, как к нему отнеслась советская власть после возвращения в Одессу, не подвергался ли репрессиям, и как могло случиться, что особняк не национализировали после революции и не конфисковали после эмиграции? Я особенно был удовлетворен тем, что наши отношения продлятся.

– Вот и славно, если у вас будет время, приходите, пожалуйста, в это воскресенье.

С каждой последующей встречей наши отношения становились теплее и доверительней. Этому способствовали и совпадения наших музыкальных и художественных пристрастий. Мой рассказ о предстоящих гастролях московской знаменитости с циклом сонат Бетховена вызвал у Евгения Ермиловича воспоминания о Рахманинове.

– Он исполнял бетховенские сонаты не только в концертах, но и во время домашнего музицирования, в гостях для узкого круга друзей и поклонников. Он исполнял не все сонаты. О тех, которые не были в его репертуаре, он говорил, что популярные сонаты слишком заиграны, о других сказал, что их многократно исполнял Горовиц, а с Горовицем состязаться бесполезно. «Сонаты, созданные Бетховеном в последние годы жизни, я пока еще не осилил», – как-то сказал Сергей.

Для меня рассказ о Рахманинове был неожиданным, и я спросил:

– Неужели пианист Рахманинов считал недостижимым для себя мастерство Горовица?

– Рахманинов как-то сказал, что после исполнения его собственных вещей Горовицем он не узнает своих произведений и тогда готов поверить, что он значительный композитор.

О Рахманинове Евгений Ермилович говорил не раз. У меня создалось впечатление, что их связывала не только музыка. Тогда я его спросил:

– Рахманинов не говорил вам, что планирует поездку в Москву на гастроли?

Я не без умысла подчеркнул, что имею в виду только гастроли и ничего более.

Запороженко, вероятно, понял то, что подразумевалось, и твердо ответил:

– Такие темы мы не обсуждали.

Я понял, что «темы» во множественном числе он произнес не случайно, я еще к этому потаенному не был допущен.

Между тем жизнь русской эмиграции не могла ограничиться борьбой за выживание. В Европе, главным образом в Европе, жили два миллиона эмигрантов из России, цвет русского общества, образованные творческие люди, наиболее активная и умная часть делового мира, верхушка русской армии. Безумно хотелось знать, как и чем жили русские, что знали о жизни в советской России. Порой мир знал о событиях в советской России больше, чем люди внутри страны. Западная пресса, в том числе эмигрантские газеты, постоянно освещала события в России. Однажды у Евгения Ермиловича вырвалось воспоминание о дискуссии между сотрудниками русского литературного журнала по поводу исчезновения некоторых писателей в советской России. Кто-то сказал, что Чехов своевременно умер, не дожив до первой русской революции, до пагубного октябрьского переворота и Гражданской войны. Это неожиданное замечание вызвало бурную реакцию. Почему аресты и гулаговская реальность конца 30-х не послужили предупреждением, когда решался вопрос о возвращении некоторых известных эмигрантов на родину? Той же Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона...

Чаще всего мы говорили о живописи. О сочных этюдах Федора Малявина, висевших в кабинете, Запороженко рассказал, что он поддерживал с художником дружеские отношения и даже брал у него уроки рисования. О художниках говорил охотно и интересно, о выставке Репина отозвался сдержанно, зато живо рассказал

о знакомстве с Пикассо: «живописная личность», о его творчестве ничего не сказал, но был доволен подарком Пикассо – небольшим рисунком.

Как-то у нас зашла речь о Второй мировой войне, и Запороженко спросил, в качестве кого я участвовал в сражениях. Когда я сказал, что был офицером и командовал пехотным подразделением, Евгений Ермилович меня обнял. Я не ожидал от этого человека с его драматическим прошлым подобной чувствительности, у него даже голос стал мягче. Он едва не силой усадил меня в кресло, сам сел на стул напротив и попросил, если мне не трудно, рассказать о фронтовой окопной жизни. Его интересовали подробности взаимоотношений офицеров с нижними чинами, так он называл младших командиров, и с солдатами, как поддерживалась дисциплина, трудно ли было поднимать солдат в атаку, как воевали штрафники, каковы их судьбы.

– Скажите, пожалуйста, эффективны ли были атаки пехоты, подобно атакам в Первую мировую? Ведь противник обладал автоматическим оружием, а Красная армия еще была вооружена винтовками старого образца, не так ли?

Я ответил, что малоэффективны, а порой вовсе неэффективны. Евгений Ермилович тяжело вздохнул.

К теме Второй мировой войны мы возвращались не раз, и тогда я попросил Запороженко рассказать, как он оказался во французском Сопротивлении.

Когда в Ницце появилась немецкая администрация, Запороженко арестовали. Его друзьям удалось устроить ему побег из тюрьмы. С тех пор и до конца войны он был во Французских Альпах в отряде Сопротивления. Он руководил многими успешными операциями, за что был удостоен награды, врученной ему генералом Шарлем де Голлем.

Тоска по Одессе, по родному дому была спутницей Запороженко. Окончание войны оживило надежду вернуться в особняк на Уютной. В осуществлении мечты, по версии Евгения Ермиловича, способствовали хорошие личные отношения с послом Советского Союза во Франции.

Запороженко – член правления, затем председатель правления Союза советских патриотов (ССП) в Ницце (1947). Эта деятельность

пришлась не по вкусу французским властям. Есть версия, что они заподозрили в нем... советского шпиона. В 1951 году французские власти выслали Евгения Ермиловича с женой из страны. Не думаю, что это было справедливое решение. Но так случилось...

Необходимые формальности были соблюдены относительно быстро, и герой Сопротивления, и его жена начали собираться в дорогу. Они были не одиноки. Русских эмигрантов, клюнувших на сталинскую пропаганду, было очень много, несколько тысяч. Кто-то ехал по зову крови, кто-то страдал ностальгией, кто-то по эмигрантской неустроенности, были французские жены, мужья и французские коммунисты... Ехали семьями.

Оказавшись в СССР, многие не добрались до места назначения. По пересечении границы их грузили в зарешеченные телячьи вагоны и напрямик отправляли в лагеря, в лучшем случае – в ссылку. Все документы сразу отбирались, в обратную сторону, даже если сразу соображал, в какую западню попал, отъезд был заказан. Кто-то выжил, приспособился, выучил язык, кому-то чудом удалось остаться незамеченным НКВД, кто-то погиб...

Собственный путь Запороженко домой оказался тернистым, как она сам выразился, «с тяжкими пересадками».

Французские и западногерманские пограничные и таможенные проверки прошли безболезненно. Поезд начал короткий путь по Восточной Германии и медленно вполз в вокзал Восточного Берлина. По расписанию стоянка должна длиться двадцать пять минут, и супруги Запороженко решили прогуляться по вокзалу и купить еду. Едва они приготовились к выходу, как открылась дверь и в купе вошли два белобрых молодых стройных немца в почти одинаковых серых плащах. Один из них, видимо, старший по чину, поздоровался.

– Добрый день, гутен таг, мадам Запороженко и геноссе Запороженко.

Впоследствии выяснилось, что это были офицеры Штази, восточногерманской службы безопасности. Дальнейший разговор состоялся по-русски. Старший по чину продолжил:

– Нам поручено препроводить вас для беседы в наше ведомство.

– Я буду беседовать только с участием советского консула, – заявил Запороженко.

– Конечно, там будет представитель консульства, мы поможем вам вынести вещи.

Не ожидая разрешения, они взяли чемоданы. Старший сказал, что вещи будут храниться в полном порядке, а фрау Запороженченко предоставляется гостиница.

Евгений Ермилович обнял жену: «Не волнуйся, все будет хорошо, – и на ухо добавил: – У тебя все номера». Это означало, что она знает, кому звонить. Жена знала не только французский, но и немецкий, и английский.

Никакой встречи и беседы с консулом в тот день не было. Запороженченко привезли в известную берлинскую тюрьму Моабит, в специальную секцию. Никакого ареста или задержания. Тюремный служитель с большой связкой ключей открыл дальнюю дверь – и Запороженченко водворили в маленькую камеру для одиночек. В камере была узкая железная кровать с жестким тюфяком, покрытым жидким одеялом. В изголовье стоял маленький столик, наглухо прикрепленный к полу. Крошечное окошко в толстой железной решетке смотрело в кирпичную стену, неба не видно.

После второй беседы с высоким должностным лицом Штази Запороженченко перевели в большую и более благоустроенную камеру с нормальной большой кроватью по его росту и шкафчиком со сменой белья. Два раза в неделю он мог пользоваться душевой. Один раз в неделю получал короткую весточку от жены.

За девять тюремных месяцев с Запороженченко всего несколько раз беседовали разные должностные лица. Дважды – люди из Москвы, представившиеся сотрудниками советского консульства в ГДР. Один из них намекнул, что действует по просьбе советского посла в Париже. Это было накануне освобождения из тюрьмы...

О причине ареста и о содержании «бесед» Евгений Ермилович не распространялся, и это лишало меня возможности спрашивать. Внутренний мир Запороженченко оставался недоступным. Я мог думать разное...

На следующий день чету Запороженченко пригласили на обед в советскую администрацию в Берлине. Обед был роскошный. Церемониальная часть приема ограничилась тостом за здоровье и благополучие четы Запороженченко. Супругам был предложен

двухнедельный отпуск в одном из лучших санаториев. В приеме также участвовал один из руководителей (в ранге замминистра) советского отраслевого министерства. Он пригласил Евгения Ермиловича для приватной беседы за отдельный столик, уставленный винами. Замминистра рассказал Евгению Ермиловичу, что на территории ГДР функционирует советский завод по производству сложных приборов для авиационной промышленности. Заводом временно руководит местный инженер. «Мы знаем о вас очень много. Знаем, что по образованию вы инженер. Предлагаем вам должность директора завода, для начала на два года с продлением контракта по вашему желанию. Думаю, мы могли бы вместе осмотреть завод...»

Так Запорожченко на два года стал директором оборонного предприятия в ГДР, прежде чем окончательно вернуться в Одессу. Это, по всей видимости, спасло Запорожченко от ГУЛага.

Когда он делился воспоминаниями, меня поражало, как менялось выражение его лица: крупные черты словно каменели, как у скульптуры, высеченной из серого гранита. Приходило сравнение с «окаянными годами» Бунина и оказалось, что окаянными были и последующие десятилетия. По всему видно было, что в полной мере он осознал это, лишь когда вернулся домой. И меня поразило, как после такой бурной жизни, после стольких перипетий Запорожченко сохранил столько деятельной энергии. Я по-новому оценил его увлечение парусным спортом как обретение свободы в безбрежном море, где он без помех, без ограничений властей хозяин своей судьбы. Он и на суше пытался хоть как-то сохранить былое, этим было продиктовано возвращение в родовое гнездо, в *особняк в Отраде*.

Борьбе за сохранение всего, что осталось от старого мира, он посвятил годы жизни после возвращения домой, взвалив на себя бремя безвозмездной работы в Обществе охраны памятников. Он знал все сохранившиеся культурные ценности, каждый уголок в городе, каждую церквушку в области, все достопримечательности. Это было подлинное бескорыстное служение идее.

В те годы властям Одессы удалось утвердить в украинском правительстве безумный план застройки железобетонными чу-

довищами курортного приморского пригорода Одессы, известного всей стране Большого Фонтана. Без ведома и согласия горожан и многочисленных владельцев частных жилых строений, втайне от дачных кооперативов. Власти даже успели снести несколько домиков с ухоженным и цветущими садами на тринадцатой станции Большого Фонтана и возвести общежитие.

Так случилось, что мне как профессиональному адвокату и члену дачного кооператива пришлось возглавить борьбу за сохранение Большого Фонтана от разрушения. Наши многочисленные обоснованные возражения, основанные на убедительных экспертных заключениях, направленные в различные компетентные ведомства, успеха не имели. Мои письма с жалобами общественности в самые высокие советские и партийные органы встречались в Москве с пониманием и сочувствием, но в конечном итоге не привели к отмене пагубных решений одесских и киевских начальников.

Тогда родилась идея обратиться к властям предержавшим с помощью всесоюзной прессы. Планом обращения в авторитетную газету «Известия» и привлечением для этой цели почетного одессита и знаменитого писателя Валентина Катаева я поделился с Запорожченко, которого я посвящал во все нюансы моих бесплодных усилий. Мы знали, что Катаев любит Одессу, как страдает от плохого ухода за одесской стариной.

Во время обсуждения с Евгением Ермиловичем очередной попытки поколебать местные власти он сказал:

– Вы бросили вызов влиятельным чиновникам. Не бойтесь мести, провокаций с их стороны?

– Боюсь. Но вы лучше меня знаете, что гадкое чувство страха не может пересилить чувство долга. Первое время на фронте были ситуации, когда страх нередко закрадывался в душу. Боялся не столько смерти, она постоянно нас окружала и в какой-то мере становилась привычной, больше боялся угодить немцам в плен. Чтобы избежать плена, я в критические моменты держал в руке гранату-лимонку с вынутым предохранителем. Она хорошо помещается в ладони, разжал пальцы – и лимонка сработала. Лимонка в руке рождает уверенность. Металл гранаты от тепла руки нагревается, и становится тепло в груди. Так я укротил страх.

То была война, был фронт, было ясно, кто враг и как с ним поступать. А сейчас... Если честно, во время нелицеприятных объяснений с одесским градоначальником мне не хватало лимонки в руке.

– Может быть, имя Катаева послужит нам такой лимонкой и сдвинет дело с мертвой точки. Я помогу, езжайте в Переделкино, я свяжу с Валей.

На следующий день я приехал к Евгению Ермиловичу, и он дал мне письмо к Катаеву, в котором изложил суть проблемы и представил меня: «Исаак Абрамович тебе понравится, он человек без страха и ведет борьбу в одиночку, – и в категорической форме добавил: – Они задумали уничтожить наш Фонтан. Твое вмешательство может предотвратить катастрофу».

Дома я на всякий случай заготовил проект письма Катаева в «Известия».

Писательский поселок Переделкино встретил меня блестящими на солнце стройными березами, напоминавшими трубы огромного органа. Мне даже показалось, что я слышу густые низкие органные аккорды. В доме Катаева меня принял его сын Павел. Он был любезен, но, извинившись, сказал, что отец очень занят и просил его не беспокоить: он заканчивает правку новой работы, которую днями должен сдать в журнал «Новый мир». Я сказал, что у меня небольшое, но крайне важное письмо от Запорожченко. Павел заулыбался и сказал:

– Дядя Женя – это святое, – и понес письмо отцу.

Через короткое время я увидел, как с лестницы второго этажа бодро спускается Валентин Петрович Катаев. Я пошел к нему навстречу. Катаев радостно обнял меня, словно обнимал Одессу, и спросил:

– Как поживает Одесса, как выглядит Женя?

– Одесса ждет помощи, а Евгений похож на роденовского Мыслителя.

Катаев залился долгим смехом:

– Какое великолепное сравнение! Как это я раньше не заметил? Разрешите мне им воспользоваться, если представится случай.

– Конечно, с удовольствием, буду польщен.

Наша встреча произошла на застекленной террасе. Там стоял довольно длинный, крытый светлой скатертью стол, за который хозяин меня усадил, а сам сел напротив.



– А теперь поговорим за Одессу, как говорят у нас дома.

– Валентин Петрович, я знаю, вы очень заняты, извините меня...

– Никаких извинений. Одесса стоит всех романов, без нее не было бы Бабеля, Багрицкого, Ильфа, и даже Олеси не было бы без Одессы, и всех-всех, им нет числа. И моих вещей не было бы. Книга, которой я теперь занимаюсь, тоже во многом об одесситах. Первая из двух была «Трава забвенья», а эту назвал «Ветка Палестины», если цензура позволит. (Потом она стала известна как «Алмазный мой венец».)

– Чтобы не отнимать у вас время, я набросал проект в «Известия».

Он взял у меня письмо и внимательно прочел.

– Убедительно и точно написано. Ничего лишнего. Ни одной запятой не добавлю, дайте ручку, подпишу, – подписал и вдруг спросил: – Вы сами пишете?

– Только кассационные жалобы.

Катаев рассмеялся и сказал:

– Это хорошо, это важно, но чувствую, что могли бы больше, у вас такой богатый жизненный материал и перо не только юридическое.

– Спасибо, большое спасибо за все, Валентин Петрович. Я, пожалуй, поеду, хочу успеть сегодня в «Известия».

– Успеете, успеете... Сперва вы у нас отобедаете, затем вас мой сын отвезет на машине. У нас сегодня фирменное блюдо моей Эстер – вареники с вишнями. Что касается «Известий», влияние этой газеты не гарантирует успеха у киевской власти. Критика «Правды» действует безотказно, но в «Известиях» есть одесситы... У Киева вообще сложные отношения с Одессой. *Одесса – город Екатерины, город Пушкина, русский, еврейский город, и это там добрые чувства не вызывает.*

Вареники были очень вкусные, но самым интересным были вопросы Валентина Петровича об Одессе, его комментарии и короткие зарисовки его любимых уголков.

Павел действительно скоро довез меня в Москву, к подъезду «Известий» на Пушкинской площади. По дороге домой расспрашивал о Запорожченко, увлекается ли еще яхтой. Рассказал, что

его сестра замужем за еврейским поэтом Вергелисом, редактором журнала «Советиш геймланд».

Вскоре в «Известиях» была опубликована статья «Бульдозер у сада», в которой была дана резко негативная оценка плана застройки Большого Фонтана. Ссылка газеты на письмо Катаева усилила нашу борьбу.

Большой Фонтан был спасен.

Я всегда помнил слова Катаева о том, что я должен писать, что накопленный жизненный материал представляет интерес. В какой-то мере я последовал совету классика, выпустил несколько книжек. Острая потребность рассказать о необыкновенном человеке, казавшемся мне олицетворением едва ли не всего двадцатого века, возникла, когда ближе познакомился с Евгением Ермиловичем Запорожченко.

Мне до сих пор не дает покоя мысль-загадка: почему глубокий писатель-психолог не воспользовался таким богатым человеческим материалом, как жизнь и приключения Запорожченко – друга детства и юности, близкого товарища всей жизни? Представляю, как этот зашифрованный персонаж украсил бы алмазный венец.

Р. С. Умер Запорожченко в 1990 году в возрасте 92 лет.

